

Л.Н. Толстой

Упустишь огонь - не потушишь

Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? (Матф. XV III, 21)

Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. (22)

Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. (23)

Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. (24)

А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. (25)

Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. (26)

Государь, умиловшись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. (27)

Раб же тот, вышедши, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. (28)

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. (29)

Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. (30)

Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. (31)

Тогда государь призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. (32)

Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? (33)

И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга (34)

Так и отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. (35)

Жил в деревне крестьянин Иван Щербаков. Жил хорошо; сам был в полной силе, первый на селе работник, да три сына на ногах: один женатый, другой жених, а третий, подросток, с лошадьми ездил и пахать зачинал. Старуха Иванова была баба умная и хозяйственная, и сноха попалась смиренная и работающая. Жить бы да жить Ивану с семьей. Только нерабочих ртов во дворе и было, что один старик отец больной (от удушья седьмой год на печи лежал). Всего было вдоволь у Ивана — 3 лошади с жеребенком, корова с подтелком, 15 овец. Бабы обували, обшивали мужиков и в поле работали; мужики крестьянствовали. Хлеба своего за новину переходило. Овсом подати и нужду всю справляли. Жить бы да жить Ивану с детьми. Да двор об двор жил с ним сосед Гаврило Хромой — Гордея Иванова сын. И завелась с ним у Ивана вражда.

Пока старик Гордей жив был и Ивана отец хозяйствовал, жили мужики по-соседски. Понадобится сито бабам или ушат, понадобится мужикам веретье или колесо сменить до времени, посылают из одного двора в другой и по-соседски помогают друг дружке. Забежит теленок на гумно — сгонят и только скажут: не пускай, мол, у нас ворох не убран. А того, чтобы прятать да запирать на гумне или в сарае или клепать друг на дружку, того и в заводе не было.

Так жили при стариках. А стали хозяйствовать молодые — пошло другое.

Затеялось все из пустого.

Занеслась у Ивановой снохи рано курочка. Стала молодая собирать к святой яйца. Что ни день, то идет за яичком под сарай в тележный ящик. Только спугнули, видно,

ребята курицу, и перелетела она через плетень к соседу и там снесла. Слышит молодайка, кудахтает курочка, думает: теперь недосуг, убраться надо в избе под праздник; ужотко зайду возьму. Пошла вечером под сарай к тележному ящику – нет яичка. Стала молодайка спрашивать свекровь, деверья, – не брали ли. Нет, говорят, не брали; а Тараска, деверь меньшей, говорит: твоя хохлатка на дворе у соседа снесла, там кудахтала и оттуда прилетела. Посмотрела молодайка на свою хохлатку, сидит рядом с петухом на перемете, уж глаза завела, спать собралась. И спросила бы у ней, где снесла, да не ответит, и пошла молодайка к соседям. Встречает ее старуха.

– Чего тебе, молодка, надо?

– Да что, – говорит, – баушка, моя курочка к вам нынче перелетала, не снесла ли она яичка где?

– И видом не видали. У нас свои, Бог дал, давно несутся. Мы своих собрали, а нам чужих не надо. Мы, деушка, по чужим дворам яйца собирать не ходим.

Обидно стало молодайке, сказала слово лишнее, соседка еще два; и стали бабы ругаться. Шла Иванова жена с водой, тоже ввязалась. Выскочила Гаврилова хозяйка, стала соседку укорять, помянула, что было, да и то, чего не было, приплела. И пошла трескотня. Все вдруг кричат, норовят по два слова в раз выговорить. Да и слова-то все дурные. Ты такая, ты сякая, да ты воровка, шлюха, ты и старика свекра мором моришь, ты беспоставочная.

– А ты побирушка, сито мое подрала! Да и коромысло-то у тебя наше, – давай коромысло!

Ухватились за коромысло, воду пролили, платки сорвали, стали драться. Подъехал с поля Гаврило, вступился за свою бабу. Выскочил Иван с сыном, свалились в кучу. Иван мужик здоровый был, раскидал всех. Гавриле клок бороды выдрал. Сбежался народ, насилиу розняли.

С того началось.

Завернул Гаврило свой клок бороды в грамотку и поехал в волостное судиться.

– Я, – говорит, – не затем ее растил, бороду-то, чтобы мне ее конопатый Ванька драл.

А жена его соседям хвалится, что они теперь Ивана засудят, в Сибирь сошлют. И пошла вражда.

Уговаривал их с печи старик еще с первого дня, да не послушали молодые. Говорил он им:

– Пустое вы, ребята, делаете и из пустого дело заводите. Ведь подумайте, все дело у вас из-за яйца завязалось. Подняли ребятишки яичко, ну и Бог с ним; в одном яйце корысти нисколько. У Бога про всех хватит. Ну, дурное слово сказала, а ты его поправь, научи, как лучше сказать. Ну, подрались – грешные люди. Бывает и это. Ну, подите попроститесь, да крышка всему. А на зло пойдете – вам хуже будет.

Не послушали молодые старика, думали, что все это старик не к делу говорит, а только по-стариковски брюзжит.

Не покорился Иван соседу.

– Я, – говорит, – ему бороды не рвал, он ее сам себе выщипал, а его сын мне пельки оборвал и всю рубаху на мне. Вот она.

И поехал Иван судиться. Судились они и у мирового и у волостного. Пока судились, пропал у Гаврилы из телеги шкворень. Поклепали Гавриловы бабы этим шкворнем Иванова сына:

– Мы, – говорят, – видели, как он ночью мимо окна к телеге подходил, а кума сказывала, он в кабак заезжал, там кабашнику шкворнем набивался.

Опять стали судиться. А дома что ни день, то брань, а то и драка. И ребята бранятся, у старших научаются, и бабы на речке сойдутся, не столько вальками бьют, сколько языками стрекочут, и все назло.

Сначала клепали мужики друг на дружку, а потом и вправду, чуть что плохо лежит, стали и таскать. И так и баб и ребят приучили. И стало житье их все хуже и хуже. Судились Иван Щербаков с Гаврилой Хромым и на сходках, и в волостном, и у мирового, так что и судьям всем надокучили; то Гаврило Ивана под штраф подведет или в холодную, то Иван Гаврилу. И что больше они друг дружке пакостили, то больше злились. Собаки схватятся: что больше дерутся, то больше остервеняются. Собаку сзади бьют, а она думает, что это ее та кусает, и еще пуще зарится. Так и эти мужики: поедут судиться, их накажут, того либо другого, штрафом или арестом, и за все это у них друг на дружку сердце разгорается. “Погоди ж, мол, я тебе все это выворочу”. И шло так у них дело 6 годов. Только старик на печи все одно говорил. Начнет, бывало, усовещивать:

– Что вы, ребята, делаете? Бросьте вы все счеты, дело не упускайте, а на людей не зlobьтесь, лучше будет. Д что больше зlobитесь, то хуже.

Не слушают старика. Зашло дело на седьмом году о том, что на свадьбе стала сноха Иванова Гаврилу при народе срамить, стала его уличать, что он с лошадьми попался. Был Гаврило пьяный, не сдержал своего сердца, ударил бабу и зашиб так, что она неделю лежала, а баба тяжелая была. Обрадовался Иван, поехал с прошением к следователю. “Теперь, – думает, – развяжусь я с соседом, не миновать ему острога или Сибири”. Да опять не вышло Иваново дело. Не принял следователь прошения; освидетельствовали бабу; баба встала, и знаков нет. Поехал Иван к мировому, и тот переслал дело в волостное. Стал Иван хлопотать в волости, писарю со старшиной полведра сладкой пропоил и выхлопотал, что присудили высечь Гавриле спину. Прочли Гавриле на суде решение.

Читает писарь: “Суд постановил; наказать крестьянина Гаврилу Гордеева 20-ю ударами розог при волостном правлении”. Слушает и Иван решение и глядит на Гаврилу: что от него теперь будет? Выслушал Гаврило, побелел, как полотенце, повернулся, вышел в сени. Вышел за ним Иван, хотел к лошади, да услышал, – говорит Гаврило:

– Ладно, – говорит, – он мою спину высечет, загорится она у меня, да и у него как бы больше чего не загорелось.

Услыхал эти слова Иван, тотчас вернулся к судьям.

– Судьи праведные! Он меня спалить грозит. Прислушайте, при свидетелях сказал.

Позвали Гаврилу.

– Правда, ты говорил?

– Я ничего не говорил. Секите, коли ваша власть есть. Видно, мне одному за мою правду страдать, а ему все можно.

Хотел еще что-то сказать Гаврило, да затряслись у него и губы и щеки. И отвернулся к стенке. Испугались даже судьи, глядя на Гаврилу. Как бы, думают, он и впрямь чего худого над соседом или над собой не сделал.

И стал старичок судья говорить:

– А вот что, братцы: сойдитесь-ка вы лучше добром. Ты, брат Гаврило, разве хорошо сделал – тяжелую бабу ударил? Ведь хорошо, Бог помиловал, а то какой бы грех сделал. Разве хорошо? Ты повинись да поклонись ему. А он простит. Мы это решение перепишем.

Услыхал это писарь и говорит:

– Это нельзя, потому что на основании сто семнадцатой статьи миролюбивое соглашение не состоялось, а состоялось решение суда, и решение должно войти в силу.

Но судья не послушал писаря.

– Будет, – говорит, – язык чесать-то. Первая статья, брат, одна: Бога помнить надо, а помириться Бог велел.

И стал судья опять уговаривать мужиков, да не уговорил. Не стал его Гаврило слушать.

— Мне, — говорит, — без году пятьдесят, у меня сын женатый, и бит я отродясь не был, а теперь меня конопатый Ванька под розги привел, да я же ему поклонись! Ну, да будет... Попомнит меня и Ванька!

Задрожал опять голос у Гаврилы. Не мог больше говорить. Повернулся и вышел.

От волости до двора 10 верст было, вернулся Иван домой поздно. Уж бабы вышли скотину встречать. Отпряг он лошадь, убрался и вошел в избу. В избе никого не было. Ребята с поля не ворочались, а бабы скотину встречали. Вошел Иван, сел на лавку и задумался. Вспомнил он, как Гавриле решение объявили и как он побелел и к стене повернулся. И защемило ему сердце. Примерил он к себе, кабы его высечь присудили. И жалко ему стало Гаврилы. И слышит он, закашлялся старик на печи, поворочался, спустил ноги и полез с печи. Сполз старик, протащился до лавки и сел. Уморился до лавки доползть, кашлял, кашлял старик, откашлялся, оперся на стол и говорит:

— Что ж? присудили?

Иван говорит:

— Двадцать розг присудили.

Помотал головой старик.

— Худо, — говорит, — Иван, ты делаешь. Ох, худо! Не ему, себе худо делаешь. Ну, выпорют ему спину, тебе-то полегчает, что ли?

— Вперед не будет, — сказал Иван.

— Чего не будет-то? Чем он хуже тебя делает?

— Как, чего он мне сделал? — заговорил Иван. — Он бабу бы до смерти убил, да он и теперь сжечь грозится. Что ж, ему кланяться за это?

Воздохнул старик и говорит:

— По всему ты, Иван, вольному свету ходишь и ездешь, а я на печи который год лежу, ты и думаешь, что ты все видишь, а я ничего не вижу. Нет, малый, тебе ничего не видно; тебе злоба глаза заметила. Чужие-то грехи перед собой, а свои за спиной. Что сказал: он худо делает! Кабы он один худо делал, зла бы не было. Разве зло промеж людьми от одного заводится? Зло промеж двоих. Его плохоту тебе видно, а свою не видать. Кабы он один был зол, а ты бы хорош, зла бы не было. Бороду-то ему кто выдрал? Копну-то испольную кто поднял? По судам-то кто его волочил? А все на него воротишь. Сам плохо живешь, оттого и худо. Не так я, брат, жил и не тому вас учил. Мы с стариком, с отцом его, разве так жили? Мы жили как? — по-соседски. У него мука дошла, придет баба: дядя Фрол, муки надо! — Иди, мол, молодка, в амбар, насыпай, сколько надо. — У него некого с лошадьми послать: ступай, Ванятка, сведи его лошадей.. — А у меня чего нехватка, иду к нему. — Дядя Гордей, того-то, того-то надо. — Бери, дядя Фрол! — Так у нас шло. И вам житье легкое было. А теперь что? Вот наемни солдат про Плевну сказывал. Что ж, у вас теперь война хуже Плевны этой. Разве это житье? А грех-то! Ты мужик, ты хозяин в дому. С тебя спросится. Ты чему своих баб да ребят учишь? Собачиться. Намедни Тараска — и тот, сопляк, тетку Арину костит по-матери, а мать на него смеется. Разве это добро? Ведь с тебя спросится! Ты об душе-то подумай. Разве так надо? Ты мне слово — я два, ты мне плюху — я тебе две. Нет, малый, Христос по земле ходил, не тому нас, дураков, учил. Тебе слово, а ты смолчи, — его самого совесть обличит. Вот как он нас, батюшка, учил. Тебе плюху, а ты под другую подвернишь; на, мол, бей, коли я того стою. А его совесть и зазрит. Он и смирится, и тебя послушает. Так-то он нам приказывал, а не гордыбачить. Что ж молчишь? Так ли я говорю?

Молчит Иван — слушает.

Закашлялся старик, насилу отплевался, опять стал говорить:

— Ты думаешь, Христос-то нас худому учил? Ведь все для нас же, для добра. Ты об земном житье-то своем подумай: что тебе лучше али хуже стало с тех пор, как эта

Плевна у вас завелась? Ты посчитай-ка, что ты провел добра на суды, что ты проездил да прохарчил? У тебя сыновья-то какие орлы поднялись, тебе бы жить да жить, да в гору идти, а у тебя достаток убывать стал. А отчего? Все оттого. От гордости от твоей. Тебе надо с ребятами в поле ехать да самому рассеять, а тебя враг к судье али к стракулисту какому гонит. Не вовремя вспашешь, не вовремя посеешь, она, матушка, и не родит. Овес-то отчего ныне не родился? Ты когда сеял? Из города приехал. А что высудил? Себе на шею. Эй, малый, ты свое дело помни: ворочай с ребятами на пашне да в дому, а обидел тебя кто, так ты по-божьи прости, и по делу-то вольготнее тебе будет, и на душе-то легость у тебя всегда будет.

Молчит Иван.

— Ты вот что, Ваня! Послушай ты меня, старика. Поди ты, запряги чалого, поезжай ты тем же следом в правление, прикрой ты там все дела и поди ты наутро к Гавриле, попросись ты с ним по-божески, да к себе позови, завтра же праздник (дело было под рождество богородицы), поставь самоварчик, полштоф возьми и развяжи ты все грехи, чтоб и вперед их не было, и бабам и детям закажи.

Вздыхнул и Иван, думает: “правду старик говорит”, и отошло у него вовсе сердце. Только не знает, как дело это сделать, как помириться теперь.

И начал опять старик, точно угадал.

— Поди, Ваня, не откладывай. Туши огонь в начале, а разгорится — нехватишь.

Хотел еще что-то сказать старик, да не договорил: пришли бабы в избу, защекотали, как сороки. До них уж все вести дошли: и как Гаврилу присудили розгами высесть, и как он сжечь грозился. Все узнали и своего приплели, и уж с Гавриловыми бабами на выгоне опять побраниться успели. Стали рассказывать, как им Гаврилова сноха грозилась производителем. Производитель, мол, Гаврилову руку тянет. Он теперь все дело перевернет, а учитель, мол, уж другое прошение к самому царю на Ивана писал, и в прошении все дела прописаны: и об шкворне, и об огороде, и половина усадьбы теперь к ним перейдет. Послушал их речи Иван, и застыло у него опять сердце, и раздумал мириться с Гаврилой.

У хозяина во дворе всегда дела много. Не стал с бабами говорить Иван, а встал и пошел из избы, пошел на гумно и в сарай. Пока убрался там да вернулся во двор, уже и солнышко зашло; подъехали и ребята с поля: они яровое под зиму надвоем пахали. Встретил их Иван, порасспросил про работу, подсобил убраться, отложил хомут разорванный починить, хотел еще убраться жерди под сарай, да уж вовсе смерклось. Оставил Иван жерди до завтра, а подкинул скотине корму, отворил ворота, выпустил Тараску с лошадьми на улицу ехать в ночное и опять запер ворота, заложил подворотню. “Теперь поужинать да и спать”, — подумал Иван, захватил хомут рваный и пошел в избу. И забыл он к тому времени и про Гаврилу, и про то, что отец говорил. Только взялся за кольцо, входит в сени, слышит — из-за плетня ругается на кого-то сосед хриплым голосом. “На кой его дьявола! — кричит на кого-то Гаврило. — Убить его стоит!” Так и всплыло у Ивана от этих слов все прежнее зло на соседа. Постоял он, послушал, покуда Гаврило ругался. Затих Гаврило, пошел и Иван в избу. Вошел он в избу, в избе засветили огонь; молодайка в углу сидит за пряхой, старуха ужинать собирает, старший сын оборки вьет на лапти, второй у стола сидит с книжкой, Тараска в ночное убирается.

В избе все хорошо, весело, кабы не зазноба эта — сосед лихой.

Вошел Иван сердитый, сбросил кошку с лавки и баб разбралил, что у них лохань не на месте. И скучно стало Ивану; сел он, нахмурился и стал хомут чинить, и не идут у него из головы Гавриловы слова, как он на суде погрозился и как сейчас прокричал хриплым голосом про кого-то: “Убить его стоит!”

Собрала старуха Тараске ужинать; поел он, надел шубенку, кафтан, подпоясался, взял хлеба и пошел на улицу к лошадям. Хотел его старший брат проводить, да Иван сам встал и вышел на крыльцо. На дворе уж вовсе темно, черно стало, наволокло и

поднялся ветер. Сошел Иван с крыльца, посадил сынишку, пугнул за ним жеребенка и постоял, посмотрел, послушал, как поехал Тараска вниз по деревне, как съехался с другими ребятами и как все они выехали из слуха вон. Постоял, постоял Иван у ворот, и не выходят у него из головы Гавриловы слова: “Как бы у тебя больше не загорелось”.

“И себя, — думает Иван, — не пожалеет. Сушь стоит, да еще ветер. Зайдет где с задов, сунет огонь, да и был таков; сожжет, злодей, да и прав останется. Вот кабы накрыть его, уж не ушел бы!” И так запала эта Ивану думка в голову, что не пошел он назад на крыльцо, а прямо сошел на улицу и за ворота, за угол. “Дай обойду двор. Кто его знает”. И пошел Иван тихой ступней вдоль ворот.

Только зашел он за угол, поглядел вдоль плетня, и покажись ему, что на том углу что-то мотнулось, как будто высунулось и опять спряталось за угол. Остановился Иван и притих, — слушает и смотрит: все тихо, только ветер листочки на лозине треплет и по соломе шуршит. То было темно, хоть глаз выткни, а то пригляделись глаза в темноте: и видит Иван весь угол, и соху, и застреху. Постоял он, посмотрел: “Нет никого”.

“Видно, померещилось, — подумал Иван, — а все-таки обойду”, — и пошел крадучись вдоль сарая. Ступает Иван тихо, в лаптях, так что и сам своих шагов не слышит. Дошел до угла — глядь, на том конце что-то блеснуло у сохи и опять скрылось. Так и ударило Ивана в сердце, и остановился он. Только остановился он, на том же месте вспыхнуло ярче, и явственно видно — сидит на корточках к нему спиной человек в шапке и соломы пучок в руках разжигает. Забилось у Ивана сердце в груди, как птица, и напряжился он весь и зашагал большими шагами. Сам под собой ног не слышит. “Ну, — думает, — теперь не уйдет, на месте захвачу!”

Не дошел Иван еще двух прогалков, как вдруг засветилось ярко-ярко, да уж не на том месте и не маленький огонек, а полымем вспыхнула солома под застрехой и на крышу несет, и Гаврило стоит, и всего его видно.

Как ястреб на жаворонка, бросился Иван на Хромого. “Скручу, — думает, — не уйдет теперь!” Да услышал, видно, Хромой шаги, оглянулся и, откуда прыть взялась, заковылял, как заяц, вдоль сарая.

— Не уйдешь! — закричал Иван и налетел на него.

Только он хотел ухватить его за шиворот, вывернулся у него из-под рук Гаврило, поймал его Иван за полу. Пола оборвалась, и упал Иван. Вскочил Иван: “Караул! держи!” — и побежал опять.

Пока он поднимался, Гаврило уже был у своего двора, но и тут Иван настиг его. И только хотел сцапать, как вдруг оглоушило его что-то по голове, как камнем ударило по темени: это Гаврило у двора поднял дубовый кол и, когда Иван подбегал к нему, со всего маху ударил его в голову.

Очумел Иван, посыпались у него искры из глаз, потом потемнело, и зашатался он. Когда он опомнился, Гаврилы не было; было светло, как днем, и со стороны его двора, как машина шла, гудело и трещало что-то. Иван повернулся и увидал, что задний сарай его полыхал весь, боковой сарай захватило, и огонь, и дым, и оскретки соломы с дымом гнало на избу.

— Что ж это, братцы! — вскрикнул Иван, поднял руки и хлопнул ими себя по ляжкам. — Ведь мне бы только выдернуть из застрехи да затоптать! Что ж это, братцы! — повторил он.

Хотел закричать — дух захватило, голоса не было. Хотел бежать — ноги не двигались, одна за другую цеплялась. Пошел шагом — зашатался, опять дух захватило. Постоял, отдышался, опять пошел. Покуда он обошел сарай и дошел до пожара, боковой сарай весь полыхал, захватило уже и угол избы, и ворота, и из избы валил огонь, и ходу во двор не было. Народу сбегалось много, но делать нечего было. Соседи вытаскивали свое и сгоняли с дворов свою скотину. После Иванова занялся Гаврилин двор, поднялся ветер, перекинуло через улицу. Снесло половину деревни.

У Ивана только вытащили старика, да сами повыскачили в чем были, а то все осталось; кроме лошадей в ночном, вся скотина сгорела, куры погорели на насестях, телеги, сохи, бороны, бабы сундуки, хлеб в закромах, все сгорело.

У Гаврилы скотину выгнали и кое-что повытаскали.

Горело долго, всю ночь. Иван стоял около своего двора, смотрел и только все приговаривал: “Что ж это, братцы! только бы выхватить да затоптать”. Но когда завалился потолок в избе, он полез в самый жар, ухватил обгорелое бревно и потащил его из огня. Бабы увидели его и стали звать назад, но он вытащил бревно и полез за другим, да пошатнулся и упал на огонь. Тогда сын полез за ним и вытащил его. Опалил себе Иван и бороду и волосы, прожег платье и испортил руку, и ничего не чуял. “Это он с горя одурел”, — говорил народ. Стал пожар утихать, а Иван все стоял и только приговаривал: “Братцы, что ж это! только бы выхватить”. К утру прислал за Иваном староста сына.

— Дядя Иван, твой родитель помирает, велел тебя звать проститься.

Забыл Иван и про отца и не понял, что ему говорят.

— Какой, — говорит, — родитель? Кого звать?

— Велел тебя звать — проститься, он у нас в избе помирает. Пойдем, дядя Иван, — сказал старостин сын и потянул его за руку. Иван пошел за старостиным сыном.

Старика, когда выносили, окинуло соломой с огнем и обожгло. Его снесли к старосте на дальнюю слободу. Слобода эта не сгорела.

Когда Иван пришел к отцу, в избе была только одна старушка старостина и ребята на печке. Все были на пожаре. Старик лежал на лавке с свечкой в руке и косился на дверь. Когда сын вошел, он зашевелился. Старуха подошла к нему и сказала, что пришел сын. Он велел позвать его ближе. Иван подошел, и тогда старик заговорил.

— Что, Ванятка, — сказал он, — говорил я тебе. Кто сжег деревню?

— Он, батюшка, — сказал Иван, — он, я и застал его. При мне он и огонь в крышу сунул. Мне бы только выхватить клоч соломы с огнем да затоптать, и ничего бы не было.

— Иван, — сказал старик. — Моя смерть пришла, и ты помирать будешь. Чей грех?

Иван уставился на отца и молчал, ничего не мог выговорить.

— Перед Богом говори: чей грех? Что я тебе говорил?

Тут только очнулся Иван и все понял. И засопел он носом и сказал:

— Мой, батюшка! — И пал на колени перед отцом, заплакал и сказал: — Прости меня, батюшка, виноват я перед тобой и перед Богом.

Старик подвигал руками, перехватил в левую руку свечку и потащил правую ко лбу, хотел перекреститься, да не дотащил и остановился.

— Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! — сказал он и скосил глаза опять на сына.

— Ванька! а Ванька!

— Что, батюшка?

— Что ж надо делать теперь?

Иван все плакал.

— Не знаю, батюшка, — сказал он. — Как теперь и жить, батюшка?

Закрыв глаза старик, помулявил губами, как будто с силами собирался, и опять открыл глаза и сказал:

— Проживете. С Богом жить будете — проживете.

Помолчал еще старик, ухмыльнулся и сказал:

— Смотри ж, Ваня, не сказывай, кто зажег. Чужой грех покрой. Бог два простит.

И взял старик свечку в обе руки, сложил их под сердцем, вздохнул, потянулся и помер.

Иван не сказал на Гаврилу, — и никто и не узнал, от чего был пожар.

И сошло у Ивана сердце на Гаврилу, и дивился Гаврило Ивану, что Иван на него никому не сказал. Сначала боялся его Гаврило, а потом и привык. Перестали ссориться мужики, перестали и семейные. Пока строились, жили обе семьи в одном дворе, а когда отстроилась деревня и дворы разместили шире, Иван с Гаврилой остались опять соседями, в одном гнезде.

И жили Иван с Гаврилой по-соседски, так же, как жили старики. И помнит Иван Щербаков наказ старика и Божье указание, что тушить огонь надо в начале.

И если ему кто худое сделает, норовит не другому за то выместить, а норовит, как дело поправить; а если ему кто худое слово скажет, норовит не то что еще злее ответить, а как бы того научить, чтобы не говорить худого; и так и баб и ребят своих учит. И поправился Иван Щербаков и стал жить лучше прежнего.